

ТРУД — 1991 — 15 МАР

# Когда все думали: «нельзя», М. Булгаков знал: «можно»

**В** ПЕРВЫЕ «Мастера и Маргариту» я прочитал лет пятнадцать назад. Книгу в самодельном переплете, составленную из публикаций в журнале «Москва» 1966—1967 годов, дал мне приятель всего на три вечера, и потому читал я торопливо, пытаюсь хотя бы схватить сюжетную линию и смысл вещи, о которой много слышал. Смысл книги, назначение, направленность — вот как учили нас в школе и вузе, «координаты», по которым нужно оценивать литературное произведение. Не считая, разумеется, святых заповедей соцреализма, толкующих про партийность и классовую борьбу. И потому, воспитанный и выученный на этой системе, пытаюсь в три вечера постичь вещь, которую автор создавал больше десяти лет, я ничего не понял вначале, хоть и был, не лукавлю, сразу околдован ароматом книги и фантазией автора. Одно утешает: не понял, похоже, не я один...

«При чтении «Мастера и Маргариты» людям старших поколений сразу бросается в глаза, что главным полем для сатирических наблюдений Булгакова послужила московская обывательская, в том числе околотеатральная и околотеатральная среда конца 20-х годов с ее, как тогда говорили, «отрыжками нэпа».

Следует добавить, что другой Москвы того времени, другого, более широкого поля для наблюдения в романе почти не чувствуется. И это один из примеров, говорящих об ограниченности взгляда писателя на современность. Мы иногда колеблемся произнести слова «ограниченность взгляда», говоря о большом таланте. И напрасно. Ибо они, не умаляя таланта, отражают реальность; помогают понять действительное место писателя в истории литературы».

Так писал о «Мастере и Маргарите» Константин Симонов. Ничуть не хочу бросить камень в огород классика соцреализма, благодаря которому, кстати сказать, роман и был впервые опубликован через тридцать почти лет после написания. По нашим меркам (1966 год — восход застоя, расцвет соцсоревнования) — и это чудо. А уж если вспомнить годы, в которые создавалась вещь... Я как-то специально составил короткий список книг, написанных тогда: «Время, вперед!», «Гидроцентральный», «Темп», «Энергия», «Бруски»... И вдруг в дружном хоре, воспевающем уверенную поступь социализма, победы колхозного строя и пафос индустриализации, обличающем индивидуализм и частнособственническую психологию, вдруг звучит:

«Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, танцует, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскопчила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила и кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно...»

Советский сталевар, согласно теории соцреализма и всем нашим обыденным понятиям, мог варить сталь высшего качества, догоняя и перегоняя проклятых буржуинов; колхозница могла садиться на трактор и выполнять несколько норм на пахоте; директор завода мог — и должен был — дневать и ночевать на заводе, и даже спать на соб-



ственном столе, положив под голову чертежи. Но ни один из них — ни сталевар, ни колхозница, ни директор — не мог летать верхом на швабре. И писать так было нельзя. Но Булгаков писал, потому что — наперекор всем и всему — знал: можно...

Любому литератору, желавшему занять свое место на иерархической лестнице советской литературы, было очевидно: про чертовщину, про балы у сатаны, про обитателей дурдома — и это в период полной и окончательной победы социализма — писать нельзя. Но Булгаков писал, потому что знал: можно...

Многие, наверное, помнят такую клоунскую репризу: один из клоунов пытается сделать шаг, к чему-нибудь притронуться, и тут его партнер шипит: «Низзя!» В такой примерно обстановке еще недавно жили и все мы: работали, писали книги, строили, растили хлеб, делали машины. Но при этом всегда знали, что можно, а что «низзя». Нельзя ставить личные интересы выше общественных и уж тем паче — интересов государства. Нельзя быть индивидуалистом, нельзя шагать «не в ногу»... И только недавно стали мы осознавать природу того общества, которое создало, в котором государство нависло над человеком, полностью подчинив его себе, проводя селекцию населения, отделяя «чистых» от «нечистых» — при полном одобрении самого населения...

Но Мастер-то все понял уже тогда: в стране завелась чертовщина. И иными глазами читаю я написанное больше пятидесяти лет назад:

«И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать».

Однажды в выходной явился в квартиру милиционер, вывел в переднюю второго этажа (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят

на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с нормальным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся...

Станным, перевернутым, с искаженной шкалой ценностей оказывается мир не в книге — в реальной жизни. И потому один за другим герои романа, едва начав говорить правду о том, что предстало перед их глазами, попадают в дурдом. Там же оказывается и Мастер, и оттого — в отчаянии — сжигает он свою рукопись, повторяя поступок автора романа. И спасибо вам, Михаил Афанасьевич, что нашли вы в себе мужество сказать всем нам, жившим и продолжающим жить по законам «нельзя», громко сказать: МОЖНО! Можно писать, следуя за собственной фантазией, а не за указаниями идеологических начальников; можно любить женщину, даже замужнюю, а не только родной коллектив, воспитавший тебя; можно быть добрым и любить розы и дождь в саду, а не только власть и силу... Мы только осваиваем это новое для нас состояние «можно», уже без содрогания произнося слова «рынок», «частная собственность», «крестьянин», «свобода слова», хотя и срывается то и дело в привычный мир схем, мир, где все ясно, где почти все — нельзя. И невозможно поверить в то, что Мастеру — 100 лет, что он умер 51 год назад. Он с нами, как с нами же добро и зло. С нами до сих пор — Воланд и его компания, ведь не случайно я то и дело слышу в Москве запах серы... Как же трудно нам сегодня, но надо верить в лучшее, потому что человек добр и царство истинь настанет, как сказал Иешуа по прозвищу Га-Ноци...

В. КОНСТАНТИНОВ.